«ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА» И. А. БУНИНА И АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО (ПОЭТИКА ЖАНРА)

Яблоновская Н. В., аспирантка кафедры русской и зарубежной литературы

Связь «Жизни Арсеньева» И.А.Бунина с творчеством Л.Н.Толстого трудно переоценить: весь творческий путь Бунина прошел под знаком Толстого – от воспоминаний отца писателя, Алексея Николаевича, о знакомстве с Толстым во время Крымской кампании до последних дней автора «Жизни Арсеньева», когда он перечитывал «Воскресение».

Но наибольшее влияние на «Жизнь Арсеньева» оказала толстовская трилогия – не только идеями, поэтикой, но и как образец автобиографического повествования. В бунинских дневниках, в воспоминаниях современников практически не встречаются отзывы Бунина о «Детстве», «Отрочестве», «Юности», но известно, что Бунин неоднократно перечитывал эти произведения и даже мог цитировать их. Однажды, подписывая свою фотографию писательнице Ум-эль-Банин, пользовавшейся его благосклонностью, Бунин воспроизвел по памяти «стихотворение» из первой книги трилогии: «Позвольте, Джаным, сказать словами Карла Ивановича из «Детства» Толстого:

Помните близко,

Помните далеко,

Помните еще и навсегда,

Как верен я любить умею» [1, с.74].

Из всех классических автобиографий композиционно «Жизнь Арсеньева» ближе всего к толстовской трилогии (с той только разницей, что Толстой начинает свое повествование о детстве не с «истоков дней», а с десятилетнего возраста). Если повесть Аксакова охватывает период жизни героя только до поступления в гимназию, а тетралогия Н.Гарина-Михайловского включает и зрелые годы (повесть «Инженеры»), то у Толстого и Бунина повествование заканчивается юностью – последняя повесть трилогии Толстого так и названа – «Юность» – и бунинский роман в последнем прижизненном и наиболее полном издании (издательство им.Чехова, Нью-Йорк, 1952) носит название «Жизнь Арсеньева. Юность».

И Толстой, и Бунин собирались описать большую часть жизни своих героев, чем это было осуществлено. Очевидно, такой временной предел – юность – характерен для жанра автобиографического повествования. В основе художественной автобиографии, вышедшей из романа воспитания, лежит идея развития личности. Понятно, что при изображении зрелости героя она блекнет. Этой специфической особенностью жанра автобиографического повествования объясняется большое количество оставшихся незавершенными художественных автобиографий.

Другая особенность автобиографического жанра – выведение всеобщего, общечеловеческого из родового, семейного (впоследствии она развилась у Толстого в «мысль семейную», навсегда оставшуюся в его творчестве). В отличие от современников – разночинцев и от писателей начала XX в., воспевавших в своих произведениях распад семьи и утрату родового чувства, Толстой был воспитан в уважении к семейному началу, неслучайно он вместе с Аксаковым стал родоначальником русской художественной автобиографии.

Для молодого Толстого семейное счастье – синоним счастья вообще. Однако мечты об идеальной семье не помешали Толстому, как позже и Бунину, объективно изобразить отношения между родными героя. Толстовский Николенька одинок в домашнем кругу: он рано лишился матери, его отец занят устройством собственной жизни настолько, что слуги, Карл Иванович и Наталья Савишна, становятся ребенку ближе, чем не похожие на него по своему внутреннему складу отец и брат. Так же внутренне обособленно, одиноко живет и бунинский Арсеньев. «Для Алеши Арсеньева, – пишет В.И.Положенцев, – так же как и для толстовского Николеньки, характерно стремление отъединиться от семьи, уберечь свой внутренний мир. Но если Николенька стремится к четкому идеалу добра и усовершенствования, то Алешу больше всего ужасает именно семья, практицизм, которые, по его убеждению, мешают слиянию гармонической личности с миром» [2, 92].

На наш взгляд, отношение героев Толстого и Бунина к семье сложнее, чем это представляется исследователям, уже потому, что семья и практицизм в понимании Иртеньева и Арсеньева – далеко не одно и то же. Действительно, Арсеньев не приемлет пошлости мира, приземленности представлений о счастье, он вспоминает: «...С какими задатками рос я, можно судить по следующему: стал однажды Николай рисовать мне мое будущее, – ну, что ж, сказал он подшучивая, мы, конечно, уже вполне разорены, и ты куда-нибудь поступишь, когда подрастешь, будешь служить, женишься, заведешь детей, домик, – и я вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что разрыдался...» [3, с.42]. Отрицание пошлости быта, попытку возвыситься над ней мы находим у многих героев Толстого; этим же стремлением «заражены» и герои Бунина – в «Митиной любви», сборнике «Темные аллеи», «Жизни Арсеньева».

Но семья и для Толстого, и для Бунина – это не только быт, но и духовное сродство душ. Поэтому одиночество героев в «Детстве», «Отрочестве», «Юности» и «Жизни Арсеньева» будит мысль не о том, что семья изжила себя, а о ее ценности как социального института, в чем были одинаково убеждены и Толстой, и Бунин, принадлежавшие к одному быту.

Примечательно, что в романе Бунина, где Арсеньев говорит: «Как это ужасно, что даже сам Толстой в молодости мечтал больше всего о женитьбе, семье, хозяйстве!» [3, с.159], присутствует такая поэтизация семьи, которой нет даже у Толстого. В глазах Арсеньева-ребенка его промотавшийся отец выглядит добрым и умным, сильным и ловким, о матери же зрелый Арсеньев вспоминает как о самой

горькой любви своей жизни. Рассказчик в «Детстве» Толстого идеализирует мать, но беспощаден к памяти отца: его недостатки и слабости вынесены на строгий суд читателей в главе «Что за человек был мой отец?».

Такие расхождения Толстого и Бунина в описании сходного опыта выявляют различную роль рассказчика в их автобиографических произведениях. Бунинский Арсеньев, вспоминая прошедшее, может сказать: «Точно те же чувства испытываю я и теперь, воскрешая образ того, кем был когда- то» [3, с.149], подчеркнув тем самым, что вмешательство зрелого повествователя в описание давно прошедших событий минимально. У Толстого же оценка рассказчика часто лишает восприятие Николеньки детской непосредственности.

В формировании мировоззрения Николеньки Иртеньева и Алексея Арсеньева колоссальную роль играет природа. На наш взгляд, С.И.Машинский не совсем справедливо называет отношение Иртеньева к природе «лишь приятным развлечением, не оставляющим уж очень глубокого нравственного следа в его сознании» [4, с. 489]. По мнению исследователя, у Сережи Багрова, который рядом с героем Толстого «кажется простым провинциалом», это отношение «гораздо серьезнее, глубже». Но как тогда оценить, например, такое признание Иртеньева: «И все я был один, и все мне казалось, что таинственно величавая природа, притягивающий к себе светлый круг месяца, останавливающийся зачем-то на одном высоком месте бледно-голубого неба и вместе стоящий везде и как будто наполняющий собой все необъятное пространство, и я, ничтожный червяк, уже оскверненный всеми мелкими, бедными людскими страстями, но со всей необъятной могучей силой воображения и любви, – мне все казалось в эти минуты, что как будто природа, и луна, и я, мы были одно и то же» [5, с. 323-324]? Подобное чувство природы свойственно и Алексею Арсеньеву.

Исследователи обнаруживают у Толстого уже в его первом произведении талант непревзойденного живописца. Бунин-пейзажист многое перенял у него. Именно Толстой впервые в русской литературе применил субъективность в описаниях природы. У Толстого в «Юности» «темно-зеленая крапива с тонкой цветущей макушкой *стройно* тянется вверх; разлапистый репейник с неестественно лиловыми колючими цветками *грубо* растет выше малины...» [5, с. 320].

Возможно, что присутствующий в пейзажах Бунина психологический параллелизм («Удивителен весенний расцвет дерева. А как он удивителен, если весна дружная, счастливая! Тогда то незримое, что неустанно идет в нем, проявляется, делается зримым особенно чудесно. Взглянув на дерево однажды утром, поражаешься обилию почек, покрывших его за ночь... Нечто подобное произошло и со мной в то время» [3, с. 92-93]) – был им почерпнут не только из фольклорных источников, но и опосредованно, из произведений Толстого, например, из «Юности», где Николенька с наступлением весны переживает душевный подъем: «Какое-то новое для меня, чрезвычайно сильное и приятное чувство вдруг проникло мне в душу. Мокрая земля,.. блестящие на солнце ручьи.., закрасневшиеся прутья сирени с выпуклыми

почками.., хлопотливое чиликанье птичек, копошившихся в этом кусте,.. а главное – этот пахучий сырой воздух и радостное солнце говорили мне внятно, ясно о чем-то новом и прекрасном... Как мог я не понимать того, как дурен я был прежде, как я мог бы и могу быть хорош и счастлив в будущем! – говорил я сам себе. – Надо скорей, скорей, сию же минуту сделаться другим человеком и начать жить иначе» [5, с. 221].

Для мировосприятия Арсеньева характерно, что больше всего из «Войны и мира» ему запомнилось небо над Аустерлицем и мысли Андрея Болконского, увидевшего это небо. Ведь и сам бунинский герой, подобно Иртеньеву или Болконскому, сопоставляет движения своей души с изменениями в природе. Человек и у Толстого, и у Бунина органично вписан в мир природы, слит с ним. Но представление об этом мире у писателей различно. Если для Толстого природный мир – олицетворенная гармония, совершенство и истина, то для Бунина природа – прекрасный, бесконечно мучающий своей прелестью хаос: «материнские объятия» Арсеньеву раскрывает «вечно обманывающая земля».

В бунинском мире нет внешней, идущей от человека закономерности «умствования»: «Жизнь Арсеньева» начинается с мечты о рождении на необитаемом острове, где не существует человеческого *знания* о смерти и *мысли* о собственном конце.

Но и в этом кажущемся хаосе природного мира он находит подтверждение своей догадки о бесконечной цепи перевоплощений, в которой каждая смерть влечет за собой рождение, т.е. побеждается вечной жизнью. Для Бунина вообще в высшей степени характерен «взгляд с позиций вечности» (О.В.Сливицкая), и природа у него выступает как вечное, незыблемое мерило человеческих страстей и олицетворяет собой внутреннюю, скрытую гармонию внешне хаотичного мира. Ее безучастность противопоставляется внутреннему разладу человеческой души. Например, в рассказе «Ночь» (поздняя редакция «Книги моей жизни», предшествовавшей «Жизни Арсеньева») лирический герой признается, что на фоне «великого покоя, великой гармонии ночи» только в нем одном «нет покоя – вечное тайное томление! – и нет бездумности» [6, с. 298]. Таким образом, хаос и гармония у Бунина не противопоставлены, а сосуществуют, поэтому в его произведениях невозможно выделить гармоничную и дисгармоничную формы существования.

Г.Кузнецова, сравнивавшая автобиографические произведения Толстого и Бунина, писала, что у последнего «все картинней, «безумней», как выразился о себе он сам» [7, с. 58]. В автобиографической трилогии Толстого порядок повествования совпадает с действительной последовательностью событий, таким же упорядоченным предстает и мир в изображении Толстого. В нем все идет своим чередом, одно событие детерминирует другое: следствием недостаточной подготовки Иртеньева становится провал на университетском экзамене, полученная двойка и сломанный ключик от портфеля – причина нашедшего на Николеньку «затмения» и т.д. Толстой считал установление связи событий необходимым усло-

вием создания автобиографического повествования и признавался в «Воспоминаниях», что для него эта задача представляет трудность.

«Безумность» бунинского мира проявилась в том, что в нем «дни слагались в недели, месяцы, осень сменяла лето, зима осень, весна зиму» [3, с.28], но эти изменения ничего существенно не меняли, и поэтому уже в детстве Арсеньев почувствовал, что «все в мире было бесцельно, неизвестно зачем существовало» [3, с.34]. В этом арсеньевском мире слишком часто звучат слова «вдруг», «неожиданно», «внезапно», напрочь отрицающие существующую в нем закономерность. Жизнь для Арсеньева – это «беспорядочное накопление впечатлений, картин и образов..; течение несвязных чувств и мыслей, беспорядочных воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем» [3, с. 153].

Такое же отсутствие обусловленности, свободный полет во времени и в пространстве мы находим и в структуре «Жизни Арсеньева». Герой свободно смешивает в воспоминаниях события, лишая их естественной последовательности: вспоминая о своей мимолетной встрече в Орле с царственным «гигантом-гусаром», Арсеньев восклицает: «Мог ли я думать в этот жаркий весенний день, как и где увижу я его еще один раз!» [3, с. 186], тем самым переносясь через десятилетия в будущее, которое по отношению к настоящему тоже стало прошедшим. В отличие от Толстого, Бунин стремится к «новому приему написания романа», в котором «сливаются настоящее и прошедшее, и живешь и в том и в другом одновременно» [7, с. 300].

И тем не менее начало бунинских «безумств» было положено именно автобиографической трилогией Толстого, в которой основное действие прерывается лирическими авторскими отступлениями, а также сведениями из жизни действующих лиц (гл. «Наталья Савишна» в «Детстве», «История Карла Ивановича» в «Отрочестве» и т.д.), философскими рассуждениями (например, в гл. «Любовь» в «Юности») и т.п.

Д.Мережковский особенно отмечал «чувственность» прозы Толстого: «Не только древние греки и римляне, но, по всей вероятности, даже люди XVIII века не поняли бы, что значит «прозрачный» звук лошадиных копыт, или как может «запах жженой пробки смешиваться с чувством поцелуя», или кушанье – «отзываться выражением человеческого лица – приятною улыбкою», или «что-то круглое быть в запахе человека»... Слава Толстого заключается именно в том, что он первый выразил – и с какою бесстрашною искренностью! – эту новую, никем не исчерпанную, область чувственности» [8, с. 78-79].

Автор «Жизни Арсеньева» привел у себя в дневнике (9/22 января 1922 г.) признание Толстого: «Я как-то физически чувствую людей». И добавил: «Я все физически чувствую. Я настоящего художественного естества. Я всегда мир воспринимал через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду – и как остро, Боже мой, до чего остро, даже больно!» [9, с. 437]. Арсеньев признается: «Меня все ранило – и, ранив, мгновенно рождало порыв не дать ему, этому впечатлению, пропасть даром, исчезнуть бесследно, – молнию корыстного стремления тотчас же завоевать его в свою собственность» [3, с. 231]. А

«физическое ощущение» людей заставляет его «преследовать то одного, то другого прохожего, глядя на его спину, на его калоши, стараясь что-то понять, поймать в нем, войти в него» [3, с. 233]. Арсеньев сохраняет в памяти и «тройной клубничный нос» застарелого пьяницы, и уши собачки – «совсем как завязанный бант» (и в этом Бунин, бесспорно, является учеником Толстого – достаточно вспомнить короткую губку «маленькой» княгини и «неизменную улыбку» Элен).

Однако, по сравнению с толстовскими, бунинские описания самодовлеют: в них уже содержится нечто, что безотказно и однозначно действует на внутреннее состояние героя (известно, как сам Бунин по внешним признакам мог рассказать историю жизни незнакомца). Так, Арсеньев считает своими «врагами» людей с «плотью скотов», которые «так держат тело в наклон, точно они только вчера поднялись с четверенек». Однажды он долго шел за полицейским приставом, не спуская глаз с его спины, с икр в блестящих голенищах и признался Лике: «Ах, как пожирал я эти голенища, их сапожный запах, сукно этой серой добротной шинели, пуговицы на ее хлястике и все это алчное сорокалетнее животное во всей его великанской сбруе!» [3, с. 218].

У Толстого характер восприятия того или иного человека зависит от внутреннего состояния героя и многих внешних обстоятельств. Сердясь на Карла Ивановича, Николенька думает: «Противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка – какие противные!», а после примирения недоумевает, как перед тем «мог не любить Карла Ивановича и находить противными его халат, шапочку и кисточку» [5, с. 42].

В художественной автобиографии смерть близкого человека – один из основных этапов становления личности главного героя. Со смертью сталкиваются и Сергей Багров, и Николенька Иртеньев, и Алексей Арсеньев.

Главное, что поражает Николеньку Иртеньева при столкновении со смертью матери – это несовместимость образа, который сохранился в его памяти, и ее мертвого тела: «Я вздрогнул от ужаса, когда убедился, что это была она» [5, с. 84]. И Арсеньев воспринимает мертвую сестру Надю как «неподвижную нарядную куклу с ничего не выражающим бескровным личиком и неплотно закрытыми ресницами» [3, с. 43-44].

Смерть матери открывает Николеньке горькую истину, которая наполняет его душу отчаянием: все живое неизбежно подвержено тлению. Точно так же и смерть Нади надолго лишает Арсеньева чувства жизни: «Я вдруг понял, – вспоминает он, – что и я смертен, что и со мной каждую минуту может случиться то дикое, ужасное, что случилось с Надей, и что вообще все земное, все живое, вещественное, телесное, непременно подлежит гибели, тленью, той лиловой черноте, которой покрылись губки Нади к выносу ее из дома» [3, с. 44]. И у Бунина, и у Толстого мы встречаем непосредственное, глубокое переживание таинства смерти.

Но если Толстой подробно рассказывает о ночи, проведенной героем у гроба матери, то Бунин в этом случае гораздо лаконичнее. «Более волшебной ночи не было во всей моей жизни», – просто гово-

рит Арсеньев [3, с.44]. Возможно, подобную краткость должна была компенсировать «память» жанра, которая хранила развернутое толстовское описание, на которое опирался автор «Жизни Арсеньева», как и на собственные рассказы, например, «Преображение», в котором также чувствуется толстовская традиция. Для обоих писателей смерть – это иное бытие, «возвращение к общему и вечному источнику», «пробуждение от жизни» (так, умирающий князь Андрей понимает, что он и живые «не могут понимать друг друга»). Смерть как качественный переход из одного состояния в другое, как освобождение от материального существования у Толстого подчеркивает метафора двери (это дверь, которую во сне видит Андрей Болконский), у Бунина на грани вечного и преходящего находится зеркало.

В «Детстве», «Отрочестве», «Юности» важное место отводится влиянию окружающих на личность героя, оценке действующих лиц (иногда мы сталкиваемся и с переоценкой последних: повторяющиеся названия глав – «Корнаковы», «Ивины», «Князь Иван Иванович» – в «Детстве» и «Юности» заставляют читателя сопоставить их содержание, чтобы увидеть, насколько изменилось восприятие названных лиц повзрослевшим Иртеньевым). Большую роль в жизни Иртеньева в юности играет его дружба с Дмитрием Нехлюдовым, дружеское сближение с однокурсниками.

В «Жизни Арсеньева» мы не найдем подобного рассказа. Для Бунина главное не взаимоотношения с людьми, но чувства героя, причем данные в воспоминаниях, а значит, освобожденные от всего несущественного, вторичного, например, преходящих обид и непонимания. Можно было бы предположить, что из-за такого лирического подхода мы не видим героя глазами окружающих и потому не способны объективно оценить его. Но молодой Арсеньев неизбежно оценивается зрелым рассказчиком, что выражается в самом подборе жизненного материала и в лирических авторских отступлениях.

Сходно в произведениях Толстого и Бунина и описание зарождающейся любви. Для Иртеньева и Арсеньева это приобщение к любви вообще, к вечной женственности, к прекрасной женщине, а потому оно совершенно не связано с достоинствами конкретной героини.

Исследователи неоднократно отмечали, что Бунина объединяет с его Учителем чувство живой жизни. Цель художника, как заявил Толстой в письме П.Д.Боборыкину (1865 г.), заключается в том, чтобы заставить любить жизнь во всех ее проявлениях. Герой его автобиографической трилогии не устает узнавать жизнь, любя сам процесс узнавания, он взрослеет вместе с меняющейся жизнью.

Вспоминая «Войну и мир», Арсеньев выделяет близкую ему мысль и признается в своей любви к жизни: «Пьеру кто-то все говорил: «Жизнь есть любовь... Любить жизнь – любить бога...». Это кто-то и мне всегда говорит, и как люблю я все, даже вот эту дикую ночь! Я хочу видеть и любить весь мир, всю землю, всех Наташ и Марьянок...» [3, с. 159].

При всем сходстве творческих методов Толстого и Бунина, нельзя, однако, не заметить и существенной разницы между ними: Толстой был увлечен проблемой перевоспитания человека, изменения

социального мироустройства, он стал создателем нравственно-религиозного учения, популярного не только в России, но и во всем мире, Бунину же нравственно-философская проблематика чужда.

Исследователи справедливо отмечают, что внутренняя реакция Арсеньева-ребенка, «чаще вопросительная, недоуменная», не похожа на свойственную Иртеньеву «диалектику души», сложный самоанализ. Николенька Иртеньев и у гроба матери не может надолго уйти в себя; неразрешимые противоречия между истинным и мнимым, внутренним и внешним продолжают волновать его и здесь. Специфика же бунинского романа, его лиризм проявляется в том, что при столкновении со смертью герой уходит в себя, ищет спасения в религии, в «земных метаниях» и коленопреклонениях.

При этом и в «воспитательном» отношении роман Бунина ближе творчеству Толстого, чем другие его произведения. Избрав жанр художественной автобиографии, в основе которого лежит идея воспитания, Бунин рассказывает обо всем «очень русском», что окружало его в детстве и создает образец русского человека – мещанина Ростовцева, с его верностью традициям и удивительной любовью к Родине, сближающими его с любимым героем Толстого Платоном Каратаевым. Последняя книга «Жизни Арсеньева» силой нравственного чувства сближает Бунина с Толстым. Авторское внимание привлекает здесь не столько эстетическая, сколько этическая сторона взаимоотношений возлюбленных. Воспевая любовь, Бунин говорит об ответственности перед ней и необходимости преодоления собственного эгоизма ради ее сохранения.

Литература.

1. Привалов К. Вызов Ивана Бунина // Юность. - 1990. - № 4. - С.74 - 75.
2. Положенцев В.И. Л.Н.Толстой и И.А.Бунин («Детство», «Отрочество», «Юность» и «Жизнь Арсеньева») // Толстовский сборник. - Тула, 1978. - С.92 - 95.
3. Бунин И.А. Собрание сочинений в 9 т. - М.: Худож.лит., 1967. - Т. 6. - 340с.
4. Машинский С.И. С.Т.Аксаков. - М.: Худож. лит., 1973. - 576 с.
5. Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 12 т. - М.: Правда, 1987. - Т. 1. - 575 с.
6. Бунин И.А. Собрание сочинений в 9 т. - М.: Худож. лит., 1966. - Т. 5. - 543 с.
7. Кузнецова Г.Н. Грасский дневник. - М.: Моск.рабочий, 1995. - 410 с.
8. Мережковский Д.С. Л.Толстой и Достоевский. - М.: Республика, 1995. - 623 с.
9. Бунин И.А. Собр. соч. в 6 т. - М.: Худож. лит., 1989. - Т. 6. - 719 с.